



БЛАГОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Пролог

Когда моей маме исполнилось семнадцать, она пошла на поводу у друзей и заплатила двадцать долларов гадалке на бродячей ярмарке, чтобы узнать свою судьбу.

Мама оставила друзей на пыльной тропинке под гирляндой электрических лампочек и очутилась в шатре, освещенном свечами. Стены были затянуты коврами с вышитыми созвездиями, а в центре стоял стол, накрытый угольно-черной скатертью, и на ней были разложены кристаллы, карты звездного неба, ракушки и кости. На деревянной подставке тлели благовония с корицей. Мама устроилась напротив гадалки. Та — воплощение всех штампов, в шифоновых шарфах и серебряных побрякушках, — принялась раскладывать свои принадлежности загадочными кучками, перемещая ракушки, кристаллы и кости. Сначала гадалка изучила карты звездного неба, а затем уже перевела внимание на мамину ладонь.

Как-то я спросила маму, было ли ей тогда не по себе.

— Совсем наоборот! — ответила мама. — В шатер я вошла настроенная скептически, но, когда села... Гадалка была не местной и выглядела странновато, но я сразу ощутила спокойствие.

Негромко, с выговором более четким, чем мамин миссисипский, гадалка принялась рассказывать, что прочитала по ракушкам, звездам, кристаллам и маминой ладони.

— Тебе необходимо образование. Старайся и дальше учиться хорошо.

Мама, с ее ненасытной любовью к книгам и почти что фотографической памятью, кивнула.

— Ты ищешь глубокой дружбы, и на друзьях держится вся твоя жизнь, — продолжала гадалка. — Семья для тебя тоже важна. Мать для тебя опора. Пусть вы и не всегда рядом, но душой близки.

Тут глаза гадалки потемнели — зрачки расширились, и она как будто бы погрузилась в транс.

Мама подалась вперед — озадаченная, но заинтригованная.

И вдруг гадалка нанесла ей сокрушительный удар:

— Прежде чем ты съедешь от родителей, отец твой умрет.

Мама намеревалась покинуть родительский дом в следующем году: ее ждал Оле Мисс, он же Миссисипский университет. Сейчас она от потрясения откинулась на спинку стула. Ей хотелось возразить, засыпать гадалку вопросами, ведь папа был крепок как дуб и обладал отменным здоровьем.

И что она делает в этом шатре, когда за пологом бурлит ярмарка? Ей бы веселиться с друзьями. Ей бы встать и уйти — да что там, она должна, должна встать и уйти.

Но гадалка посмотрела на нее так серьезно и проникновенно, что мама не шелохнулась.

Лишь сморгнула слезы, взяла себя в руки и приготовилась слушать дальше.

— Родственную душу ты повстречаешь после смерти отца, — продолжала гадалка. — Вот в ком будешь черпать силы, чтобы идти дальше. Ну а вскорости будет тебе и романтическая любовь. Поначалу он тебе не особенно понравится, но ты будь готова к встрече и откройся ему. — Гадалка протянула руку поверх ракушек и прочего и положила маме на запястье, где бился пульс. По коже у мамы побежали мурашки, ее всю окутало жаром. — Ты от природы заботливая, сердце у тебя любящее. Ты рождена для любви.

Когда мама, вспоминая, доходила до этого места, на глаза у нее всегда наворачивались слезы.

А потом гадалка завела речь обо мне.

— Ребенка ты родишь только одного — девочку с льяными волосами и отцовскими глазами, синими, как море. Она тебе будет самой большой радостью в жизни и пойдет твоей дорогой. А задушевная подруга, про которую я тебе сказала, твое отражение, — она родит суженого для твоей дочки.

На этом гадание закончилось, и мама вышла из шатра.

Снаружи все так же бурлила ярмарка. Звенели колокольчики, мигали неоновые огни. В воздухе, застланном дымом, смешивались запахи хот-догов и пирожков. Мама отыскала друзей, и они принялись упрашивать: расскажи да расскажи, что тебе нагадали.

А она наотрез отказалась говорить.

Она сохранила предсказание в тайне ото всех...

...с трепетом наблюдая, как оно претворяется в жизнь.

Мама — преподавательница. У нее сплоченный круг друзей. С бабушкой они созваниваются каждый день. Папа ее скончался от рака простаты через две недели после того, как мама закончила школу. С Бернадеттой — Берни — мама познакомилась в первый же день в колледже. Они оказались соседками по общежитию и до сих пор клянутся, что жить друг без друга не могут. Месяц спустя на вечеринке студенческого общества какой-то голубоглазый студент уронил арбузную конфету «Джолли Ранчер» в мамин коктейль «Зима». Они станцевали два танца, он объявил, что мама — любовь всей его жизни, а потом его стошнило «пуншем из мусорного ведра»* на мамины туфельки марки «Стив Мэдден».

Мама его простила.

Они встречались со студенческих времен, и именно мама приколола ему погоны в тот день, когда он получил офицерский чин. Спустя несколько недель они поженились под благоухающей магнолией. А на свадебном приеме, к большому возмущению бабушки, пили из бумажных стаканчиков все ту же смесь — водку с фруктовым пуншем. Они переехали, пережили командировку и снова переехали. Берни вышла замуж за боевого товарища папы по Корпусу подготовки офицеров запаса — Коннора Бёрна. Вскоре у Берни и Коннора родился сын, здоровенный, почти пять кило веса. В родильном отделении Коннор

* Trash Can Punch — разговорное название смеси водки с фруктовым пуншем. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

хлопнулся в обморок прямо на пол, так что пуповину подруге перерезала мама, которая тоже присутствовала на родах.

Беккет Бёрн.

Волосы: рыжие, как ржавчина.

Глаза: зеленые, как армейская форма.

Сердце: отдано мне.

Я родилась через полтора года после Беккета, и если он появился на свет великаном, то я — крошкой. С льяными волосами и синими, как море, глазами. Когда мама впервые взяла меня на руки, она не заплакала — и не потому, что не растрогалась или не обрадовалась.

— А потому, лапочка моя Лия, — говорит мама, заканчивая историю, которую рассказывала много-много раз, — что я о тебе уже знала — со своих семнадцати лет.



ДЕТИ ВОЕННЫХ

Семнадцать лет, Вирджиния

Когда я училась в восьмом классе, папу на год отправили в Афганистан. В одну из бессонных ночей я раскрыла дневник, с которым не расставалась, и кое-что подсчитала. Из тринадцати лет моей жизни папа отсутствовал шесть. Получалось, почти половину моей жизни он был на военной службе где-то далеко, в чужих краях. Каждый раз, когда папу отправляли куда-то, я рыдала в три ручья. И мама тоже. Но вскоре у нас налаживался свой ритм жизни. Мы жили без него. Мы как-то справлялись.

И молились, чтобы и папа тоже справлялся.

Проходило шесть месяцев, восемь, год, и папина командировка заканчивалась. Мы с мамой встречали его плакатами, на которых моим детским почерком, красными и синими буквами было накалякано: «Добро пожаловать домой, папочка!» Папа обнимал меня и шептал: «Я соскучился по тебе, Милли», и от него пахло чужими краями.

Присутствующие утирали слезы и благодарили его за доблестную службу. Папа смущенно улыбался. Он — военный в третьем поколении. Для него это не служба и не работа, а призвание: в жилах его течет патриотизм.

У нас даже есть семейная традиция: когда папа возвращается, мы едем в «Бургер Кинг» и всегда заказываем там двойные гамбургеры и газировку. А потом катим домой — туда, где снимаем очередной дом в очередном военном городке при гарнизоне. Папа закидывает пыльные дорожные сумки в гараж. Принимает горячий душ, выпивает парочку банок крепкого эля, а потом выключается прямо в кресле, измотанный разницей часовых поясов, — и надо дать ему отоспаться.

С родителями я всегда была близка. Думаю, что так оно обстоит у всех детей военных. Мы ведь бродяги, мы все равно что бедуины, которые странствуют, подчиняясь приказам отцовского начальства, и единственная наша константа — это мы сами. Конечно, где бы мы ни жили, я заводила друзей, но, когда думаю о них, вспоминаю лишь о том, как мы веселились, дурачились, коротали время. Это не друзья на всю жизнь.

Исключение — только Бек.

Бек — он тоже был ребенком военнослужащего. Знал, каково это — переезжать каждые несколько лет, снова паковать вещички и прощаться с приятелями. Знал, каково опять оказываться новеньким в школе. Его отца призывали так же часто, как и моего. Бек отрывал колечки от бумажных гирлянд, отсчитывая дни до папиного возвращения*. Берни была для него такой же опорой, как для меня — мама.

* В американских военных семьях есть традиция делать гирлянды из бумажных колечек. Ребенок каждый день отрывает по одному колечку, отсчитывая время до встречи.

Бек меня понимал.

Все каникулы с раннего детства я проводила с семьей Бека. Созванивалась с Берни по фейстайму, чтобы обсудить драматические сериалы, которые мы с ней смотрели синхронно. Я ходила на все церемонии повышения Коннора в звании, так же как и на папины. Когда мне было три-четыре-пять (а Беку пять-шесть-семь), наших пап вместе отправили в одну воинскую часть в Форт-Брэгг. Мы жили в одном военном городке. Когда мне было восемь-девять-десять (а Беку десять-одиннадцать-двенадцать), пап снова перевели. Теперь уже в Форт-Льюис. Мы жили на одной улице. Когда мне было четырнадцать (а Беку только-только стукнуло шестнадцать), папу направили в Пентагон. А Коннора перевели в Форт-Белвуар, тоже в Северной Вирджинии.

И мы снова были вместе.

Берни и мама были сами не свои от счастья.

А мы с Беком влюбились друг в друга.



СМЕНА МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ

Семнадцать лет, по дороге в Теннесси

Переезд в выпускном классе — это самый кошмарный кошмар многих детей военных.

Но не мой.

Покинуть Вирджинию.

Покинуть Коннора, Берни, близняшек.

Покинуть школу «Роузбелл».

Я жду того июльского дня, когда мы наконец уедем.

Бежать, спастись, исчезнуть.

Вот какие слова крутятся у меня в голове, когда я распикиваю по коробкам свою жизнь. Когда мы выдвигаемся в штат Теннесси. Когда я смотрю на капли летнего дождя — как они наперегонки сбегают по стеклам нашего «эксплорера». Когда заполняю странички своего дневника бессмысленными списками, многословными размышлениями, бессодержательными рисунками. Когда глажу Майора, нашего щенка пойнера весом тридцать килограммов, — он растянулся рядом со мной на заднем сиденье машины. Когда поглощаю перекусы с заправки, которые родители подсовывают мне, потому что я «стала малоежкой» и «мы за тебя волнуемся, Лия».

Прошло сто девяносто девять дней.

Четыре тысячи семьсот восемьдесят часов, проведенных в попытках жить в мире без Бека.

Как утверждают мама с папой, я сама на себя не похожа.

Какая же тупость — предполагать, что я могу быть прежней.

В пути родители заполняют тишину наигранно веселой болтовней. Заказывают в окошках автокафе молочные коктейли с арахисовым маслом. Растягивают десятичасовую поездку на три дня, потому что «небольшие каникулы пойдут Лии на пользу».

Когда мы уже направляемся к востоку от Ноксвилла, мама оборачивается и грустно смотрит на меня:

— Ох, лапочка. Нам с папой тоже так его не хватает!

Сравнила! Мое горе — со своим. Злюсь.

— Это правда, Милли, — добавляет папа, глядя перед собой на бесконечное шоссе. Мое полное имя, Амелия, все сокращают до Лии, но папе нравится Милли. — Мы с матерью любили паренька как родного. И эта история — просто кошмар.

«Эта история» — надо же, как выразился.

Никто не скажет как есть: Бек умер.

Папа все говорит, говорит:

— Хотел бы я знать, чем тебе помочь... Сделать что-то, чтобы тебе было полегче.

— И Берни, и Коннору, и близняшкам тоже, — добавляет мама.

Смерть не обратить вспять. Она навсегда, ее не отменишь.

Именно так сказал священник на похоронах Бека. Он говорил о том, как Бека любили все, кто его знал, но, когда я смо-

трела на гроб своего парня, сделанный из красного дерева и буквально утопавший в цветах, и рядом со мной сидели заплаканные родители, а Берни и Коннор рыдали на скамье перед нами, обнимая близняшек-дошколят, которые отчаянно хотели, чтобы их брат вернулся, — было трудно думать о любви.

Утрата — навсегда, ее не отменишь.

Все рыдали в три ручья, и мама с папой, и Берни с Коннором, а у меня слезы уже кончились. Вот прошлым летом, когда я помогала Беку собираться в университет, они моросили. Потом полились ливнем, когда он уехал в Шарлотсвилл, в Университет Содружества Вирджинии — учебное заведение его и моей мечты — тренироваться с командой по легкой атлетике. У меня та осень превратилась в сезон дождей. К ноябрю слезы стали слякотью, ледяной и опасной.

А потом это слово: навсегда.

Постоянная смена дислокации — на военном жаргоне это означает «пакуй свое барахло, и в путь».

Мы направляемся в Форт-Кэмпбелл, где папа будет служить командиром третьей бригадной боевой группы.

Начинаем с чистого листа. Вот что объявляет папа, когда распахивает дверь в наше новое съемное жилище в городе Ривер-Холлоу, штат Теннесси.

Начинаем заново. Так говорит мама, расставляя тарелки по полкам, которые только что застелила специальной пленкой.

«Мне не надо ни того ни другого», — говорю я Беку и прячусь в комнате, в той, которая теперь называется моей и где горной грядой громоздятся коробки.

Папа тут уже побывал. Он успел повесить над столом пробковую доску с коллажем из моей прежней жизни: корешки от билетов, наклейки Университета Содружества Вирджинии, фотографии моих друзей из Вирджинии и из Колорадо-Спрингс, где мы жили до Вирджинии. Фотографии Бека. Увидеть его в цвете, с улыбкой, живого-живого — это все равно что вскрыть едва затянувшуюся рану. И посыпать солью. Густо.

Я тихо, беззвучно закрываю дверь.

И моя скорбь теперь стала именно такой: тихой и беззвучной.

И я сама закрыта, как эта дверь.

Похоже, что навсегда — и это не отменишь.



ТАК СУЖДЕНО

Пять лет, Северная Каролина

Одно из моих самых ранних воспоминаний разворачивается на фоне городского парка в Спринг-Лейк в Северной Каролине. Я как раз готовилась пойти в детский сад, а значит, Беку вот-вот должно было исполниться семь. Папа с Коннором, тогда еще оба капитаны, были в Ираке, и мама с Берни постоянно искали, чем бы нас занять. В парке, где имелись детский бассейн, площадки со всякими лазилками и зеленые лужайки, нам с Беком не приходилось скучать.

Мы с ним играли в воде — устраивали игрушечные сражения между его коллекционными солдатами Джо* и моими Барби-русалками с разноцветными волосами, и тут откуда-то возникла парочка его одноклассников.

Бек рванул к ним так поспешно, что вода вспенилась.

Я вылезла из бассейна с куклами в руках и плюхнулась на полотенце между мамой и Берни. Мама снова намазала меня

* Игрушечные фигурки, которые с 1963 года производила американская компания Hasbro: они были придуманы как вариант Барби для мальчиков и выпускались в форме разных родов войск.

кремом от солнца, а Берни дала мне гроздь винограда, и, пока я ела его, меня раздражало от возмущения. Потом меня провело, и я выпалила, что Бек гадкий, я его ненавижу и никогда-никогда в жизни больше не буду с ним играть.

Берни отозвалась:

— Иногда он ужасный поганец. Ты делай как велит сердце, девочка моя.

— Вообще-то, я думаю, — рассудила мама, — если ты никогда больше не будешь с ним играть, Бек расстроится.

— Сейчас-то он ни капельки не расстроен, — пробурчала я, глядя на дальний конец бассейна, где Бек со своими приятелями играл в мяч.

— Мальчишки иногда вредничают, — сказала Берни.

— Знаю! — горячо воскликнула я: наконец-то меня поняли. — Бек всегда делает вид, будто меня нет, когда рядом его друзья.

— Но его друг — ты, — подчеркнула Берни. — Ты его самый давний друг. Самый драгоценный.

— Вы больше чем друзья, солнышко, — добавила мама. — Вы — родственные души.

Я насупилась и обхватила свою тощую коленку.

— А что это значит?

Мама протянула руку и поправила прядку, которая выбилась у меня из хвостика.

— Между тобой и Беком есть связь, которая не похожа ни на одну другую. Она навсегда.

Я пристально посмотрела на маму:

— Это как у вас с папой — вы же тоже будете вместе всегда?

— Мы с папой женаты, — объяснила мама. — Кто знает, может, и вы с Беком в один прекрасный день поженитесь.

Я изобразила, будто меня тошнит, и мама с Берни рассмеялись. Но потом мама продолжила:

— А может, вы с ним останетесь друзьями, но лучшими, близкими друзьями, как мы с Берни. Что бы ни случилось, вы — часть жизни друг друга. И так будет всегда.

— Откуда ты знаешь?

— Твоей маме когда-то предсказали будущее, — растолковала Берни, нежно сжав мамину руку. — Она знала, что мы с ней познакомимся и подружимся навсегда. Знала, что влюбится в твоего папу. Знала, что у меня родится сын, а у нее дочь. Знает, что вам с Беком суждено быть вместе. Ну... как Микки-Маусу и его Минни.

— Или Хану и Чубакке, — добавила мама, и я хихикнула.

— Или носкам и ботинкам, — добавила Берни.

— Или кострам и дровам, — не унималась мама.

— Или арахисовому маслу и джему, — улыбнулась я.

Берни дала мне пять, а мама чмокнула в щеку. Мне легчало настолько, что я смогла взглянуть на Бека. Я смотрела, как он стоит между приятелями и старается поймать мяч в воздухе — они играли в «собачку», — а сама думала о разных неразлучных парах. Пчелы и мед. Барби и Кен. Печенье и молоко. Тротуары и мелки.

Меняясь местами с кем-то из приятелей, Бек глянул на меня. Наши глаза встретились.

— Лия! — крикнул он. — Пошли играть с нами!

Я посмотрела на маму с Берни.

— Только если ты хочешь, — не в первый раз напомнила мне Берни.

— По-моему, ты играешь ловчее и могла бы показать им класс, — добавила мама.

Я прикинулась, будто тщательно обдумываю, как быть, — секунд на пять, а потом вскочила и побежала к мальчишкам, бросив скомканное полотенце на траву.



НЕГОСТЕПРИИМНОСТЬ

Семнадцать лет, Теннесси

— Милли, — говорит папа, вынув наушники и поставив на паузу очередной подкаст по истории, который слушает на телефоне. — Давай сходим погуляем с Майором.

Вечер перед первым школьным днем. Первым днем выпускного учебного года. Час назад мы поужинали и теперь сидим в гостиной. На экране телевизора соревнуются три участника викторины «Джеопарди»*. Я переписываю расписание занятий, которое утром получила по электронной почте от школьного консультанта, к себе в дневник — рядом с рисунками линеек, яблочек, перьевых ручек. Мама гладит белье и рассеянно бормочет себе под нос ответы на телевикторину — вернее, вопросы к ним. Мысли ее заняты тем, как одеться завтра: у нее первый день работы в начальной школе «Ист-Ривер». Можно подумать, ораве ребятишек есть дело до того, с чем учительница надела легкий хлопковый блейзер — с черными брюками или с юбкой.

* В американской телевикторине Jeopardy! ведущий зачитывает ответ, а участники должны сформулировать к нему вопрос.

— Сейчас принесу поводок. — Я откладываю дневник на кофейный столик.

На улице влажно, воздух так и кишит насекомыми. Август пахнет барбекю и жимолостью. На папе футболка с надписью «Rakkasans»*, спортивные шорты и дурацкие шлепанцы, а я накинула поверх майки кардиган и надела джинсовые шорты и потрепанные конверсы.

Мы идем по улице вдоль квартала. Папа держит поводок и молчит, пока мы не доходим до общественной зоны отдыха нашего района — столики для пикников, несколько угольных грилей, детская и баскетбольная площадки на южном берегу водосборного пруда.

Папа толкает меня локтем и интересуется:

— Готова к завтрашнему?

— Если скажу, что не готова, ты мне позволишь прогулять?

Папа лукаво улыбается:

— И не мечтай.

— Тогда в полной боевой готовности.

Он обнимает меня за плечи, как раньше, когда все еще было хорошо.

— Вернемся домой — побудь часик с мамой. Может, полумаете голову над новым пазлом.

Сколько я себя помню, где бы мы ни жили, у нас на отдельном столе в столовой всегда был разложен какой-нибудь пазл.

* Прозвище 187-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии США, полученное во время Корейской войны от японцев.

Цветы, пейзажи, коты в шляпах, гамбургеры со всеми ингредиентами, замок Спящей красавицы из Диснейленда — и все это на тысячу кусочков. Обычно мы садимся за пазл втроем, когда назревает семейный совет, или порознь, когда есть настроение, — и так, пока не закончим. А как закончим, покупаем новый пазл из тысячи кусочков и принимаемся за него.

Бессмысленное занятие. В духе Сизифа.

Я со вздохом говорю папе:

— Я устала. Завтра будет насыщенный день.

— Часик-то найди.

— А если я не хочу?

Папа дергает поводок, Майор останавливается. Солнце клонится к горизонту, но еще светло, и я вижу, какое у папы огорченное лицо.

— Что между вами творится?

«Ты не поймешь», — думаю я.

Но отвечаю:

— Ничего.

Папа качает головой:

— Меня годами успокаивало то, что вы с мамой так близки, — особенно успокаивало, когда я был в отъезде. А сейчас вы почти не разговариваете. Не помню, когда ты последний раз ее обнимала.

И я не помню.

— Просто я вырасту. — У меня это выходит так небрежно, что папа хмурит брови. — И больше не нуждаюсь в маме каждую минуту.

— Может, и так, но отношения с близкими людьми нужно поддерживать. А ты с некоторых пор совсем не стараешься.

— Ага, ну да, я была не в себе. — Я скрещиваю руки на груди. Можно подумать, мой отец, кадровый военный, у которого за плечами уже двадцать лет службы, не распознаёт защитной позы.

Месяца через два после похорон Бека папа вдруг уехал по какому-то загадочному делу.

— У него встреча в Вирджиния-Бич, — объяснила мама, когда я вышла из своей комнаты и спросила, где папа. Мама сидела за кухонной стойкой и составляла план уроков для учителя, который взял ее класс до конца учебного года. — Вернется к ужину.

Я тогда еще удивилась: а что это мама не поехала с папой?

Теперь-то я понимаю: мама не решилась оставить меня одну дома. Я была в депрессии, и вовсе не в романтизированной, как в фильмах или книжках. Я существовала будто под тяжелым шерстяным одеялом: чувства притуплены, мысли как в тумане, эмоции острые и непредсказуемые. Слишком встревожена, чтобы сидеть на месте, слишком взбудоражена, чтобы спать, и злилась я не меньше, чем грустила. Меня внезапно заклинило на том, что я смертна. Я все думала — ведь Бек был таким здоровяком. Сама жизнерадостность. Если у него внезапно остановилось сердце, кто обещает, что мое не засбоит, пока я пытаюсь как-то залечить его, израненное горем?

— Попьешь со мной чайку? — спросила тогда мама, откладывая план уроков.

Я помотала головой, и зря: повело так, что меня качнуло.

Мама забеспокоилась:

— Что ты ела на завтрак?

Я не помнила, чтобы вообще ела, пила воду или делала зарядку. Не помнила, когда последний раз спала дольше двух часов подряд или выходила на дневной свет. Я уже неделями не открывала дневник, не красилась, не разговаривала с Мэйси — школьной подругой. И целую вечность не писала Энди и Анике, подружкам, которые у меня были раньше, в Колорадо-Спрингс. Родители настояли, чтобы я посещала психотерапевта — лучшего в штате специалиста по работе с горем. И сами они очень старались меня поддерживать, хотя тоже горевали. Но мой парень умер, и от меня остался лишь призрак.

— Хлопья, — соврала я.

Мама встала и пошла рыться в буфете.

— Сварю суп.

— Не хочу я суп.

— Тогда сделаю смузи, — объявила мама и извлекла блендер.

Я отстраненно наблюдала, как она режет банан, как вынимает из холодильника кокосовое молоко. Потом мама открыла морозилку и извлекла пакет замороженной клубники — а та покоилась рядом с тремя килограммами крафтового мороженого. Вот тут мама с шумом втянула воздух, захлопнула дверцу морозилки и забыла про клубнику.

Потом медленно повернулась ко мне — понять, успела ли я увидеть злосчастное мороженое, оценить, как я это перенесу.

Мороженое я увидеть успела, и это было непереносимо.

В тот день, когда доставили это мороженое, Бек — который мне его и отправил — перестал существовать.

Я рухнула на пол.

Мама кинулась ко мне. Обняла — и я ей позволила, хотя мы не прикасались друг к другу с того официального объятия, которое полагалось на прощании с Беком.

Мама виновата.

Не в его смерти — нет, не в этом.

А в моем потрясении, в невыносимых мучениях.

Всю мою жизнь мама твердила про родственные души, про то, как мы с Беком будем жить долго и счастливо. Я никогда не сомневалась в своей судьбе. В своем счастливом предназначении. Бек принадлежал мне, а я ему — и как мама вообще посмела убедить меня в том, что мы будем жить долго и счастливо?

Я рыдала на полу кухни.

Когда я наконец взяла себя в руки, мама вместо смузи приготовила домашнее брауни. Мы съели его прямо с противня. Брауни получилось маслянистое и слегка сыроватое — именно такое, как я люблю. Мама вместе со мной ела кусочек за кусочком, а я спрашивала себя: может, когда-нибудь я перестану ставить ей в вину то предсказание двадцатилетней давности?

В тот вечер папа вернулся домой и привез трехмесячного щенка пойнтера с купированным хвостиком, мокрым носом и большими лапами.

Щенка я назвала Майором.

Он был как лучик света в эти темные, мрачные месяцы.

...И вот теперь папа наклоняется и чешет Майору макушку. Пес виляет хвостом. Он такой милый, такой ласковый. У меня есть подозрение, что обо мне папа в последнее время такого сказать не может. От беспокойства морщины у него на лице стали глубже и седина на висках заметнее — песочно-русые волосы уже не скрывают ее. На лбу залегли тревожные складки. Можно подумать, папе мало забот на службе, с мамой, с Коннором и Берни — еще я добавляю ему переживаний.

— Милли, тебе нужно общение, — говорит папа. — Знакомства. Да, жизнь Бека закончилась, и это ужасно, совершенно ужасно, но тебе надо двигаться дальше. Он бы этого хотел. Сама прекрасно знаешь.

Я часто-часто моргаю, чтобы отогнать слезы.

Папа дергает пса за поводок, потом берет меня за руку и мягко тянет за собой. Мы медленно идем дальше, а на улице спускается вечер.

У папы два основных режима: мирный и боевой. Дома, со мной и с мамой, у него почти всегда включен мирный режим. Папа расслаблен, умеет слушать, умеет смешить. А вот когда начинаются разногласия, или приходит беда, или вот как сейчас — тогда включается боевой режим. Папа собран. Сосредоточен. Никаких соплей.

— Я хочу, чтобы завтра в школе ты постаралась как следует, — говорит он, когда мы подходим к дому.

— Я всегда стараюсь как следует.

Это правда. Еще в начальной школе я была отличницей с доски почета. В прошлом семестре с головой ушла в учебу и впервые получила высший балл.

— Я про общение, — поясняет папа. — Улыбайся. Заводи беседы. Заведи друзей.

— Но это будет как...

Я едва не произношу «как начать с чистого листа», но папе это от меня и нужно — чтобы я начала с чистого листа. Он хочет, чтобы я вылупилась из кокона, в котором прячусь с самого ноября, хочет, чтобы я расправила крылья в этом новом негостеприимном мире.

Он не понимает: для меня начать с чистого листа — все равно что бросить Бека.

— Будет как что? — переспрашивает папа.

— Будет... очень трудно.

— Трудно не означает невозможно. — Он ободряюще толкает меня плечом. — Именно трудности делают нас лучше.

Вот и наш дом. Мама с бокалом вина сидит на крыльце в кресле-качалке — их там два. Видит нас, машет.

Папа улыбается и машет в ответ.

Майор виляет обрубком хвоста.

«Посмотри на мою семью, — говорю я Беку. — Стараются держаться. И им это вполне удастся».

Глядя в землю, я отвечаю:

— Постараюсь. Завтра постараюсь завести друзей.

Скорбь

Потрясение: воздушный шар, который проткнули
иголкой. Дыхание прерывистое, в глазах туман.

Сердце стучит с переборами.

Отрицание: неразумно, незрело. Сжатые кулаки,
стиснутые зубы.

Боль: железный привкус во рту. Рассеченная кожа,
сломанные ребра. Хватаешь ртом воздух,
целуешься, умоляешь.

Вина: последний лепесток сорван с цветка. Взгляд
в прошлое и сожаление.

Гнев: подожженный динамит. Искры, палит,
прожигает насквозь.

Торг: одно в обмен на другое. Пахнет горечью.

На вкус — испорченное.

Депрессия: Темные дождевые тучи, салные волосы,
пустой желудок, одинокие ночи. И так бесконечно.

Восстановление: чистый бинт. Заеммитесь.

Сделать шагок вперед, потом еще один.

Принятие: недостижимо.



НОВЕНЬКАЯ

Семнадцать лет, Теннесси

Первый день выпускного года. Первый день в новой школе.

В новом городе и в новом штате.

С тех пор как я пошла в детский сад, мама фотографировала меня на крыльце с грифельной доской в руках, а на ней белым мелом было написано, в какую группу или класс я иду. Эти фотки мама всегда шлет бабушке и Берни, а если папа где-то в отъезде за морями, то и ему. С возрастом традиция эта кажется мне все глупее, но я никогда не жалею: времени-то тратишь всего секунду-другую, и к тому же раньше я всегда искренне любила первый день учебного года.

Сегодня мама приносит на кухню доску, на которой написано: «Выпускной год!»

Я поднимаюсь из-за стола и ставлю в раковину тарелку с крошками от тостов. Папа отбыл на базу несколько минут назад — подтянутый в своей армейской форме и ботинках. На прощание чмокнул меня в макушку и сказал: «Удачи, Милли». Сейчас он уже едет в Форт-Кэмпбелл, но мне нравится думать: будь папа тут, он бы за меня вступился, чтобы мама не приставала с этим дурацким фото.

Но она протягивает мне доску:

— Сфоткаешься быстренько?

Сама она выбрала к хлопковому блейзеру черную юбку, а волосы уложила мягкими волнами. После смерти Бека мама брала академический отпуск, чтобы посвящать все время его семье и еще папе и мне. Не завидую я ей: утешать безутешных — задача невыполнимая. Однако пока я, пришибленная горем, кое-как дотягивала вторую половину учебного года, умирая от одиночества и тоски, мне часто тоже хотелось взять отпуск.

Теперь маму приняли на работу в начальную школу по соседству — там она будет учить младшекласников читать. Такая работа ей идеально подходит, и я не хочу портить маме утро, но вот улыбаться на фото — нетушки.

Встаю, разгладив мини-платье в цветочек, которое бездумно вытащила утром из шкафа, беру рюкзак.

— Я уже опаздываю.

Мама опускает руки с доской, потом идет за мной к выходу. Моя машина — бывшая в употреблении «джетта», недавнее приобретение — стоит рядом с маминым приобретением, новеньким «вольво». Папа довольствуется тем, что повсюду разъезжает на «эксплорере», который я помню со своих тринадцати лет.

Я уже на полпути к свободе, когда мама окликает:

— Солнышко, ну пожалуйста, а?

Не останавливаюсь.

И не желаю маме хорошего дня.

Не оборачиваясь, машу рукой, а потом захлопываю дверцу «джетты».

И только выводя машину с подъездной дорожки, я наконец оглядываюсь. Понурившись, мама все еще стоит на крыльце. Руки повисли, в одной — доска. Мама смахивает слезинку со щеки и провожает меня взглядом.

«Я чудовище», — говорю я Беку.

Он не возражает.

* * *

По дороге к школе «Ист-Ривер» я страшно нервничаю. За семнадцать лет моей жизни это уже шестая школа — для отпрыска военного не то чтобы запредельно много, но одна в новую школу я шла последний раз очень давно — в шестом классе, когда меня перевели в Колорадо-Спрингс. Страшновато входить в незнакомое здание, видеть вокруг сотни незнакомых лиц, привыкать к новым правилам и убеждать новых учителей, что ты чего-то да стоишь. В Северной Каролине у меня был Бек. И в Вашингтоне у меня был Бек. И в Вирджинии у меня был Бек.

А сегодня, в Теннесси... у меня никого нет.

На школьной парковке — полный бардак. Машины стоят с работающими моторами или беспорядочно кружат. Группки людей лавируют между потоками машин, направляясь к зданию школы, — они смахивают на стайки безмозглых голубей. Парковочные места распределены: номер моего — сто тридцать два, правда, разметка на асфальте почти стерлась. Я це-

лую вечность ищу свой сектор. А когда наконец нахожу, вздыхаю с облегчением. Маленькая, но победа.

Выкрутив до упора руль «джетты», я резко поворачиваю влево, чтобы занять сто тридцать второе место, — и ровно в эту секунду девчонка с иссиня-черными волосами и сумкой-почтальонкой через плечо переступает через разметку.

Секунда превращается в вечность: моя машина едет прямо на эту брюнетку, и я успеваю увидеть, как веером разлетаются ее волосы, когда она оборачивается на звук надвигающейся беды. Рот округляется от ужаса. Руки она вскидывает, будто ими можно остановить полторы тонны металла.

Я с чудовищной отчетливостью понимаю: «Сейчас я ее задавлю».

И мигом новая мысль, словно другим голосом, глубоким и отчаянным: «Амелия, тормози, так тебя и этак!»

Я взвизгиваю, жму на педаль.

«Джетта» тормозит.

Девчонка стоит перед самым капотом и тяжело дышит. Мой бампер сантиметрах в четырех от ее коленок.

Мы смотрим друг на друга сквозь лобовое стекло.

Я встаю на парковочное место, потом дрожащими пальцами отстегиваю ремень безопасности. Впопыхах чуть не вываливаюсь из машины носом в асфальт, но удерживаю равновесие.

— Прости! Ты цела? — торопливо спрашиваю я.

Брюнетка опускает руки — звенят золотые браслеты. Смахивает волосы с лица. Вижу, зубы у нее стиснуты, лоб нахмурен. А какая красотка — идеальная, ухоженная, как в рекламе: таким,

как я, которые разве что ресницы покрасят или гигиеничкой по губам пройдутся, и в мечтах такой холеной не бывать.

Вид у девчонки злющий.

А потом в один миг — ну вот как снег съезжает с крыши — злость сходит с ее лица. Она торопливо делает шаг, другой мне навстречу.

— Цела. Ты сама-то как?

— В полном порядке. — Я перевожу дух, стараюсь унять бешеное сердцебиение. Это же надо было сесть за руль с таким туманом в голове — чуть человека не задавила. Просто чудо, что девчонка не пострадала из-за моей неосторожности. — О боже, прости. Правда, мне так жаль.

И тут она смеется. Представляете? Смеется.

— Не переживай. Тут постоянно такое.

Я хлопаю глазами:

— Что, серьезно?

— На этой парковке всегда дурдом. Ты не первая, кто едва не задавил человека, и не последняя, уж поверь.

Может, она привирает, чтобы мне полегчало? Или стоит надевать шлем, чтобы дотопать от машины до школы и обратно?

— Ты новенькая? — угадывает она.

— Это так заметно?

Она снова смеется — звонко, заливисто.

— Ты в каком классе?

— В выпускном.

— Ух ты, перевели в другую школу в выпускном классе? Вот невезуха-то.

— Не так уж плохо. — Я пожимаю плечами. Очень хочется достать телефон и свериться с расписанием, а потом попросить новую знакомую отвести меня на первый урок — политологии.

— Я тоже в выпускном. — Она показывает на мою машину: мотор я так и не заглушила, а багажник торчит за пределами разметки. — Слушай, ты припаркуйся по-человечески — я отойду в сторонку, как раз до звонка на урок успею сверить расписание.

Честное слово, хочется просто рухнуть на колени и благодарить ее! Не то что не злитесь, а помочь готова.

Вчера вечером я твердо пообещала папе, что приложу усилия и постараюсь завести друзей.

— Ага, — отвечаю я, — спасибо, было бы круто. Меня зовут Лия.

— Палома. Не парься. В прошлом году я тоже была новенькой. Так что надо держаться вместе.